

Иабрнное

АРК. ГАЙДАР



ИЗБРАННОЕ



Московский рабочий

1955





ШКОЛА

1. ШКОЛА

Глава первая

Городок наш Арзамас был тихий, весь в садах, огороженных ветхими заборами. В тех садах росло великое множество «родительской вишни», яблоч-скороспелок, терновника и красных пионов.

Через город, мимо садов, тянулись тихие зацветшие пруды, в которых вся хорошая рыба давным-давно пере-

дохла и водились только скользкие огольцы да поганая лягва. Под горою текла речонка Теша.

Город был похож на монастырь: стояло в нем около тридцати церквей да четыре монашеские обители. Много у нас в городе было чудотворных святых икон, но чудес в самом Арзамасе происходило почему-то мало. Вероятно, потому, что в шестидесяти километрах находилась знаменитая Саровская пустынь с преподобными угодниками, и эти угодники переманивали все чудеса к тому месту.

Только и было слышно: то в Сарове слепой прозрел, то хромой заходил, то горбатый выпрямился, а возле наших икон — ничего похожего.

Пронесся однажды слух, будто бы Митьке-цыгану, бродяге и известному пьянице, ежегодно купавшемуся за бутылку водки в крещенской проруби, было видение и бросил Митька пить, раскаялся и постригается в Спаскую обитель монахом.

Народ валом валил к монастырю. И точно — Митька возле клироса усердно отбивал поклоны, всенародно каялся в грехах и даже сознался, что в прошлом году спер и пропил козу у купца Бебешина. Купец Бебешин умилился и дал Митьке целковый, чтобы тот поставил свечку за спасение своей души. Многие тогда прослезились, увидев, как порочный человек возвращается с гибельного пути в лоно праведной жизни.

Так продолжалось целую неделю, но уже перед самым пострижением то ли Митьке было какое другое видение, в обратном смысле, то ли еще какая причина, а только в церковь он не явился. И среди прихожан пошел слух, что Митька валяется в овраге по Новоплотинной улице, а рядом с ним лежит опорожненная бутылка из-под водки.

На место происшествия были посланы для увещевания дьякон Пафнутий и церковный староста купец Синюгин. Посланные скоро вернулись и с негодованием заявили, что Митька действительно бесчувственен, аки зарезанный скот, что рядом с ним уже лежит вторая опорожненная полбутылка, и когда его удалось растолкать, то он, ругаясь, заявил, что в монахи итти раздумал, потому что якобы грешен и недостойн.

Тихий и патриархальный был у нас городок. Под праздники, особенно на пасху, когда колокола всех тридцати церквей начинали трезвонить, над городом подни-

мался гул, хорошо слышный в деревеньках, раскинутых на двадцать километров в окружности.

Благовещенский колокол заглушал все остальные. Колокол Спасского монастыря был надтреснут и поэтому рывкал отрывисто, дребезжащим басом. Тоненькие подголоски Никольской обители звенели высокими, звонкими переливами. Этим трем запевалям вторили прочие колокольни, и даже невзрачная церковь маленькой тюрьмы, приткнувшейся к краю города, присоединялась к общему нестройному хору.

Я любил взбираться на колокольни. Позволялось это мальчикам только на пасху. Долго кружишь узенькой темной лесенкой. В каменных нишах ласково ворчат голуби. Голова немного кружится от бесчисленных поворотов. Сверху виден весь город. Под горою — Теша, старая мельница, Козий остров, перелесок, а дальше — овраги и синяя каемка городского леса.

Отец мой был солдатом 12-го Сибирского стрелкового полка. Стоял тот полк на рижском участке германского фронта.

Я учился во втором классе реального училища. Мать моя, фельдшерица, всегда была занята, и я рос сам по себе. Каждую неделю направляешься к матери с балльником для подписи. Мать бегло просмотрит отметки, увидит двойку за рисование или чистописание и недовольно покачает головой:

— Это что же такое?

— Я, мам, тут не виноват. Ну что же я поделаю, раз у меня таланта на рисование нет? Я, мам, нарисовал ему лошадь, а он говорит, что это не лошадь, а свинья. Тогда я подаю ему в следующий раз и говорю, что это свинья, а он рассердился и говорит, что это не свинья и не лошадь, а чорт знает что такое. Я, мам, в художники и не готовлюсь вовсе.

— Ну, а за чистописание почему? Дай-ка твою тетрадку... Бог ты мой, как наляпано! Почему у тебя на каждой строке клякса, а здесь между страниц таракан раздавлен? Фу, гадость какая!

— Клякса, мам, оттого, что нечаянно, а про таракана я вовсе не виноват. Ведь что это такое на самом деле — ко всему придираешься! Что, я нарочно таракана посадил? Сам он, дурак, заполз и удавился, а я за него отве-

чай! И подумаешь, какая наука — чистописанье! Я в писатели вовсе не готовлюсь.

— А к чему ты готовишься? — строго спрашивает мать, подписывая балльник. — Лоботрясом быть готовишься? Почему опять инспектор пишет, что ты по пожарной лестнице залез на крышу школы? Это еще к чему? Что ты — в трубочисты готовишься?

— Нет. Ни в художники, ни в писатели, ни в трубочисты... Я буду матросом.

— Почему же матросом? — удивляется озадаченная мать.

— Обязательно матросом... Вот еще... И как ты не понимаешь, что это интересно?

Мать качает головой:

— Ишь, какой выискался. Ты чтобы у меня двоек больше не приносил, а то не посмотрю и на матроса — выдеру.

Ой, как врет! Чтобы она меня выдрала? Никогда еще не драла. В чулан один раз заперла, а потом весь следующий день пирожками кормила и двугривенный на кино дала. Хорошо бы этак почаще!

Глава вторая

Однажды, наскоро попив чаю, кое-как собрав книги, я побежал в школу. По дороге встретил Тимку Штукина — одноклассника, маленького вертлявого человечка.

Тимка Штукин был безобидным и безответным мальчуганом. Его можно было треснуть по башке, не рискуя получить сдачи. Он охотно доедал бутерброды, оставшиеся у товарищей, бегал в соседнюю лавчонку покупать сайки к училищному завтраку и, не чувствуя за собой никакой вины, испуганно затихал при приближении классного наставника.

У Тимки была одна страсть — он любил птиц. Вся каморка его отца, сторожа кладбищенской церкви, была заставлена клетками с пичужками. Он покупал птиц, продавал их, выменивал, ловил сам силком или западнями на кладбище.

Однажды ему здорово влетело от отца, когда купец Синюгин, завернув на могилу своей бабушки, увидел на

каменной плите памятника рассыпанную приманку из конопляного семени и лучок — сетку с протянутой бечевой. По жалобе Синюгина сторож надрал вихры мальчугану, а наш законоучитель, отец Геннадий, во время урока закона божьего сказал неодобрительно:

— Памятники ставятся для воспоминания об усопших, а не для каких-либо иных целей, и помещать на памятниках капканы и прочие посторонние приспособления не подобает — грешно и богохульно.

Тут же он привел несколько случаев из истории человечества, когда подобное богохульство влекло за собой тягчайшие кары небесных сил.

Надо сказать, что на примеры отец Геннадий был большой мастер. Мне кажется, что если бы он узнал, например, что на прошлой неделе я ходил без увольнительной записки в кино, то, порывшись в памяти, наверняка отыскал бы какой-нибудь исторический случай, когда совершивший подобное преступление понес еще в сей жизни заслуженное божеское наказание.

Тимка шел, насвистывая дроздом. Заметив меня, он приветливо заморгал и в то же время недоверчиво посмотрел в мою сторону, как бы пытаясь определить — подходит к нему человек запросто или с какой-нибудь каверзой.

— Тимка! А мы на урок опоздаем, — сказал я. — Ей-богу, опоздаем. На урок, может быть, еще нет, а уж на молитву — обязательно.

— Не заметят?! — сказал он испуганно и в то же время вопросительно.

— Обязательно заметят. Ну что же, без обеда оставят, только и всего, — умышленно спокойно поддразнивал я, зная, что Тимка беда как боится всяких выговоров и замечаний.

Тимка съежился и, прибавляя шаг, заговорил огорченно:

— А я-то тут при чем? Отец пошел церковь отпирать. Меня дома на минутку оставил, а сам — вон сколько. И все из-за молебна. По Вальке Спагине мать приезжала служить.

— Как по Вальке Спагине? — разинул я рот. — Что ты!.. Разве он помер?

— Да не за упокой молебен, а об отыскании.

— О каком еще отыскании? — с дрожью в голосе переспросил я. — Что ты мелешь, Тимка? Я вот тебя тресну... Я, Тимка, не был вчера в школе, у меня вчера температура...

— Пинь-пинь... тарарах... тиу... — засвистел Тимка синицей и, обрадовавшись, что я еще ничего не знаю, подпрыгнул на одной ноге. — А ведь верно, ты вчера не был. Ух, брат, а что вчера было-то, что было!..

— Да что же было-то?

— А вот что. Сидим мы вчера... Первый урок у нас французский. Ведьма глаголы на «этр» задавала... Ле верб: аллэ, арривэ, антрэ, рестэ, томбэ... Вызвала к доске Раевского. Только стал он писать «рестэ, томбэ», как вдруг отворяется дверь и входит инспектор (Тимка зажмурился), директор (Тимка посмотрел на меня многозначительно) и классный наставник. Когда мы сели, директор и говорит нам: «Господа, у нас случилось несчастье: ученик вашего класса Спагин убежал из дому. Оставил записку, что убежал на германский фронт. Я не думаю, господа, чтобы он это сделал без ведома товарищей. Многие из вас знали, конечно, об этом побеге заранее, однако не потрудились сообщить мне. Я, господа...» — и начал, и начал, полчаса говорил.

У меня сперло дыхание. Так вот оно что! Такое происшествие, такая поражающая новость, а я просидел дома, будто по болезни, и ничего не знаю. И никто — ни Яшка Цуккерштейн, ни Федька Башмаков — не зашел ко мне после уроков рассказать. Тоже товарищи!.. Когда Федьке нужны были пробки от пугача — так он ко мне... А тут — на-ка!.. Тут половина школы на фронт убежит, а я себе, как идиот, сиди!

Я бурей ворвался в училище, на бегу сбросил шинель и, удачно увильнув от надзирателя, смешался с толпой ребят, выходивших из общего зала, где читалась молитва.

В следующие дни только и было толков что о героическом побеге Вальки Спагина.

Директор ошибался, высказывая предположение, что, вероятно, многие были посвящены в план побега Спагина. Ну положительно никто ничего не знал. Никому не могла даже прийти мысль, что Валька Спагин убежит. Такой тихоня был, ни в одной драке, ни в одном налете на чужой сад за яблоками не участвовал, штаны с него

всегда сваливались, ну, словом, размазня-размазней, и вдруг — такое дело!

Стали мы между собой обсуждать, допытываться друг у друга, не замечал ли кто каких-либо приготовлений. Не может же быть, чтобы человек вдруг, сразу, ни с того ни с сего вздумал, надел картуз и отправился на фронт.

Федька Башмаков вспомнил, что видел у Вальки карту железных дорог.

Второгодник Дубилов сказал, что встретил недавно Вальку в магазине, где тот покупал батарейку для карманного фонаря. Больше, сколько ни допытывались, никаких поступков, указывающих на подготовку к побегу, припомнить не могли.

Настроение в классе было приподнятое. Все бегали, бесновались, на уроках отвечали невпопад, и количество оставленных без обеда возросло в эти дни вдвое против обыкновенного. Прошло еще несколько дней. И вдруг опять новость — сбежал первоклассник Митька Тупиков.

Училищное начальство всполошилось всерьез.

— Сегодня на уроке закона божьего беседа будет, — по секрету сообщил мне Федька, — насчет побегов. Я, как тетради относил в учительскую, слышал, что про это говорили.

Нашему священнику отцу Геннадию было этак лет под семьдесят. Лица его из-за бороды и бровей не было видно вовсе, был он тучен, и, для того чтобы повернуть голову назад, ему приходилось оборачиваться всем туловищем, ибо шеи у него не было заметно вовсе.

Его любили у нас. На его уроках можно было заниматься чем угодно: играть в карты, рисовать, положить перед собой на парту вместо Ветхого завета запрещенного Ната Пинкертона или Шерлока Холмса, потому что отец Геннадий был близорук.

Отец Геннадий вошел в класс, поднял руку, благословляя всех присутствующих, и тотчас же раздался рев дежурного:

— Царю небесный, утешителю, душе истины...

Отец Геннадий был глуховат и вообще требовал, чтобы молитву читали громко и отчетливо, но даже и ему показалось, что сегодня дежурный хватил через край. Он махнул рукой и сказал сердито:

— Ну, ну... Что это? Ты читай, чтобы было благозвучно, а то ровно как бык реवेशь.

Отец Геннадий начал издавека. Сначала он рассказал нам притчу о блудном сыне. Этот сын, как я понял тогда, ушел от своего отца странствовать, но потом, как видно, ему пришлось туго, и он пошел на попятный.

Потом рассказал притчу о талантах: как один господин дал своим рабам деньги, которые назывались талантами, и как одни рабы занялись торговлей и получили от этого барыш, а другие спрятали деньги и ничего не получили.

— А что говорят сии притчи? — продолжал отец Геннадий. — Первая притча говорит о непослушном сыне. Сын этот покинул своего отца, долго скитался и все же вернулся домой под родительский кров. Нечего и говорить о ваших товарищах, которые и вовсе не искушены в жизненных невзгодах и оставили тайно дом свой, — нечего и говорить, что плохо придется им на их гибельном пути. И еще раз убеждаю вас: если кто знает, где они, пусть напишет им, дабы не убоились они вернуться, пока есть время, под родительский кров. И помните, в притче, когда вернулся блудный сын, отец по доброте своей не стал попрекать его, а одел в лучшие одежды и велел зарезать упитанного тельца, как для праздника. Так и родители этих двух заблудших юношей простят им все и примут их с распростертыми объятиями.

В этих словах я несколько усомнился. Что касается первоклассника Тупикова, то как его встретили бы родные — не знаю, но что булочник Спагин по поводу возвращения сына не станет резать упитанного тельца, а просто хорошенько отстегает сына ремнем, — это уж наверняка.

— А притча о талантах, — продолжал отец Геннадий, — говорит о том, что нельзя зарывать в землю своих способностей. Вы обучаетесь здесь всевозможным наукам. Кончите школу, каждый изберет себе профессию по способностям, призванию и положению. Один из вас будет, скажем, почтенным коммерсантом, другой — доктором, третий — чиновником. Всякий будет уважать вас и думать про себя: «Да, этот достойный человек не зарыл своих талантов в землю, а умножил их и сейчас по заслугам пользуется всеми благами жизни». Но что же, —

тут отец Геннадий огорченно воздел руки к небу, — что же, спрашивая вас, выйдет из этих и им подобных беглецов, кои, презрев все предоставленные им возможности, убежали из дому в поисках пагубных для тела и души приключений? Вы растете, как нежные цветы в теплой оранжерее заботливого садовника, вы не знаете ни бурь, ни тревожений и спокойно расцветаете, радуя взоры учителей и наставников. А они... даже если перенесут все невзгоды, то без ухода вырастут буйными терниями, обвеянными ветрами и обсыпанными придорожной пылью.

Когда отец Геннадий, величественный и воодушевленный, как пророк, вышел из класса и медленно поплыл в учительскую, я вздохнул, подумал и сказал:

— Федька!

— Ну?

— Ты как думаешь насчет талантов?

— Никак. А ты?

— Я?

Тут я замаялся немного и добавил уже тише:

— А я, Федька, пожалуй, тоже зарыл бы таланты. Ну что — коммерсантом либо чиновником!

— Я бы тоже, — чуть поколебавшись, сознался Федька. — Какой есть интерес расти, как цветок в оранжерее? На него плюнь, он и завянет. Тернию, тому хоть все ни почем — ни дождь, ни жара.

— Федька, — сказал я, — а как же тогда батюшка говорил: «И ответите в жизни будущей». Ведь хоть и в будущей, а все одно отвечать неохота!

Федька задумался. Видно было, что он и сам не особенно ясно представляет, как избежать обещанного наказания. Он тряхнул головой и ответил уклончиво:

— Ну, так ведь это еще не скоро... А там, может быть, что-нибудь и придумается.

Первоклассник Тупиков оказался дураком. Он даже не знал, в какую сторону надо на фронт бежать: его поймали через три дня в шестидесяти километрах от Арзамаса к Нижнему Новгороду.

Говорят, что дома не знали, куда его посадить, купили ему подарков, а мать, взяв с него торжественное слово больше не убегать, пообещала купить ему к лету ружье монтекристо. Но зато в школе над Тупиковым

смеялись и издевались: «Нечего сказать, этак и многие из нас согласились бы пробежать три дня вокруг города да за это в подарок получить настоящее ружье».

Совершенно неожиданно досталось Тупикову от учителя географии Малиновского, которого у нас за глаза называли «Коля бешеный».

Вызывает Малиновский Тупикова к доске:

— Тэк-с!.. Скажите, молодой человек, на какой это вы фронт убежать хотели? На японский, что ли?

— Нет, — ответил, побагровев, Тупиков, — на германский.

— Тэк-с! — ехидно продолжал Малиновский. — А позвольте вас спросить, за каким же вас чортом на Нижний Новгород понесло? Где ваша голова и где в оной мои уроки географии? Разве же не ясно, как день, что вы должны были направиться через Москву, — он ткнул указкой по карте, — через Смоленск и Брест, если вам угодно было бежать на германский? А вы поперли прямо в противоположную сторону — на восток. Как вас понесло в обратную сторону? Вы учитесь у меня для того, чтобы уметь на практике применять полученные знания, а не держать их в голове, как в мусорном ящике. Садитесь. Ставлю вам два. И стыдно, молодой человек!

Надо заметить, что следствием этой речи было то, что первоклассники, внезапно уяснив себе пользу наук, с совершенно необычным рвением принялись за изучение географии, даже выдумали новую игру, называвшуюся «беглец». Игра эта состояла в том, что один называл пограничный город, а другой должен был без запинки перечислить главные пункты, через которые лежит туда путь.

Если беглец ошибался, то платил фант, а за неимением фанта получал затрещину или щелчок по носу, смотря по уговору.

Глава третья

Каждую неделю, в среду, в общем зале перед началом занятий происходила торжественная молитва о даровании победы.

После молитвы все поворачивались влево, где висели портреты царя и царицы.

Хор начинал петь гимн «Боже, царя храни», все подхватывали. Я подпевал во всю глотку. Голос у меня для пения был не особенно приспособлен, но я старался так, что даже надзиратель сказал мне однажды:

— Вы бы, Гориков, полегче, а то уж чересчур.

Я обиделся. Что значит — чересчур?

А если у меня на пение таланта нет, то пусть другие молятся о даровании победы, а я должен помалкивать?

Дома я поделился с матерью своей обидой.

Но мать как-то холодно отнеслась к моему огорчению и сказала:

— Мал еще. Подрасти немного... Ну, воюют и воюют. Тебе-то какое дело?

— Как, мам, какое дело? А если германцы нас завоюют? Я, мам, тоже об ихних зверствах читал. Почему германцы такие варвары, что никого не жалеют — ни стариков, ни детей, а почему наш царь всех жалеет?

— Сиди! — недовольно сказала мне мать. — Все хороши... Как взбесились ровно — и германцы не хуже людей, и наши тоже.

Мать ушла, а я остался в недоумении: то есть как это выходит, что германцы не хуже наших? Как же это не хуже, когда хуже? Еще недавно в кино показывали, как германцы, не щадя никого, всё жгут, разрушили Реймский собор и надругаются над храмами, а наши ничего не разрушили и ни над чем не надругались. Наоборот даже, в том же кино я сам видел, как один русский офицер спас из огня германское дитя. Я пошел к Федьке.

Федька согласился со мной:

— Конечно, звери. Они затопили «Лузитанию» с мирными пассажирами, а мы ничего не затопили. Наш царь и английский царь — благородные. И французский президент — тоже. А их Вильгельм — хам!

— Федька, — спросил я, — а почему французский царь президентом называется?

Федька задумался.

— Не знаю, — ответил он. — Я слышал, что ихний президент вовсе не царь, а так просто.

— Как это — так просто.

— Ей-богу, не знаю. Я, знаешь, читал книжку писателя Дюма. Интересная книжка — кругом одни приклю-

чения. И по той книжке выходит, что французы убили своего царя, и с тех пор у них не царь, а президент.

— Как же можно, чтобы царя убили? — возмущился я. — Ты врешь, Федька, или напутал что-нибудь.

— А ей-богу же, убили. И его самого убили и жену его убили. Всем им был суд, и присудили им смертную казнь.

— Ну, уж это ты непременно врешь! Какой же на царя может быть суд? Скажем, наш судья, Иван Федорович, воров судит: вот у Плющихи забор сломали — он судил. Митька-цыган у монахов ящик с просфорами спер — опять он судил. Но царя он судить не посмеет, потому что царь сам над всеми начальник.

— Ну, хочешь — верь, хочешь — нет! — рассердился Федька. — Вот Сашка Головешкин прочитает книжку, я тебе ее дам. Там и суд вовсе не этакий был, как у Ивана Федоровича. Там собирался весь народ, и судили и казнили... — добавил он раздраженно. — И даже вспомнил я, как казнили. У них не вешают, а машина этакая — гильотина. Ее заведут, а она раз-раз — и отрубает головы.

— И царю отрубили?

— И царю, и царице, и еще кому-то там. Да хочешь, я тебе эту книжку принесу? Интересно... Там про монаха одного... Хитрый был, толстый и как будто святой, а на самом деле ничего подобного. Я как читал про него, так до слез хохотал, аж мать рассердилась, слезла с кровати и лампу загасила. А я подождал, пока она заснет, взял от икон лампадку и опять стал читать.

Пронесся слух, что на вокзал пригнали пленных австрийцев. Мы с Федькой тотчас же после уроков понеслись туда. Вокзал у нас находился далеко за городом. Нужно было бежать мимо кладбища, через перелесок, выйти на шоссе и пересечь длинный извилистый овраг.

— Как по-твоему, Федька, — спросил я, — пленные в кандалах или нет?

— Не знаю. Может быть, и в кандалах. А то ведь разбежаться могут. А в кандалах далеко не убежишь! Вот как арестанты в тюрьму идут, так еле ноги волочат.

— Так ведь арестанты — они же воры, а пленные ничего не украли.

Федька сощурился.

— А ты думаешь, что в тюрьме только тот, кто украл либо убил? Там, брат, за разное сидят.

— За какое еще разное?

— А вот за такое... За что ремесленного учителя посадили? Не знаешь? Не знаешь — ну и помалкивай.

Меня всегда сердило, почему Федька больше меня все знает. Обязательно, о чем его ни спроси — только не насчет уроков, — он всегда что-нибудь да знает. Должно быть, через отца. Отец у него почтальон, а почтальон, пока из дома в дом ходит, мало ли чего наслушается.

Ремесленного учителя, или, как его у нас звали, Галку, ребяташки любили. Приехал он в город в начале войны. Снял на окраине квартирку. Я несколько раз бывал у него. Он сам любил ребят, учил их на своем верстаке делать клетки, ящики, западни. Летом, бывало, наберет целую ораву и отправляется с нею в лес или на рыбную ловлю. Сам он был черный, худой и ходил немного подпрыгивая, как птица, за что и прозвали его Галкой.

Арестовали его совершенно неожиданно, за что — мы толком и не знали. Одни ребята говорили, что будто бы он шпион и передавал по телефону немцам все секреты о передвижении войск. Нашлись и такие, которые утверждали, что будто бы учитель раньше был разбойником и грабил людей на проезжих дорогах, а вот теперь правда и выплыла наружу.

Но я не верил: во-первых, отсюда ни до какой границы телефонный провод не подтянешь; во-вторых, про какие военные секреты и передвижения войск можно передавать из Арзамаса? Тут и войск-то вовсе было мало — семь человек команды с денщиком да на вокзале четыре пекаря из военнопроводовственного пункта, у которых одно только название, что солдаты, а на самом деле обыкновенные булочники. Кроме того, за все это время у нас только и было одно передвижение войск, когда офицер Балагушин переехал с квартиры Пырятиных к Басюгиным, а больше никаких передвижений и не было.

Что же касается того, что учитель был разбойником, — это была явная ложь. Выдумал Петька Золотухин, который, как известно всем, отчаянный враль, и если попросит займы три копейки, то потом будет божиться, что отдал, либо вовсе вернет удилице без крючков и потом будет уверять, что так и брал. Да какой же из учителя разбойник? У него и лицо не такое, и походка смешная, и сам он добрый, а к тому же худой и всегда кашляет.

Так мы добежали с Федькой до самого оврага.

Тут, не в силах более сдерживать свое любопытство, я спросил у Федьки:

— Федь, так за что ж, на самом деле, учителя арестовали? Ведь это же враки: и про шпиона и про разбойника?

— Конечно, враки, — ответил он, замедляя шаг и осторожно оглядываясь, как будто бы мы были не в поле, а среди толпы. — Его, брат, за политику арестовали.

Не успел я подробнее выспросить у Федьки, за какую именно политику арестовали учителя, как за поворотом раздался тяжелый топот приближающейся колонны.

Пленных было около сотни.

Они не были закованы, и сопровождало их всего шесть конвоиров.

Усталые, угрюмые лица австрийцев сливались в одно с их серыми шинелями и измятыми шапками. Шли они молча, плотными рядами, мерным солдатским шагом.

«Так вот какие они, — думали мы с Федькой, пропуская колонну. — Вот они, те самые австрийцы и немцы, зверства которых ужасают все народы. Нахмурились, напустились — не нравится в плену. То-то, голубчики!»

Когда колонна прошла мимо, Федька погрозил ей вдогонку кулаком:

— Газы выдумали! У, немецкая колбаса проклятая!

Возвращались домой мы немного подавленные. Отчего — не знаю. Вероятно, оттого, что усталые серые пленники не произвели на нас того впечатления, на которое мы рассчитывали. Если бы не шинели, они походили бы на беженцев. Те же худые, истощенные лица, та же утомленность и какое-то усталое равнодушие ко всему окружающему.